ПОРОГ
СЛЫШИМОСТИ
САМАНАТА

Наталия САМАНАТА

Порог слышимости.

https://litres.ru/74524619
SelfPub; 2026

Аннотация

Звукорежиссёр Маша приезжает в деревню Опушки — семь домов, пять из которых слепы, — продать бабушкин дом и записать тишину. Но тишина здесь не записывается. Она слушает в ответ.

Печь, в которой год не было огня, поёт голосом умершей бабушки и фальшивит на той самой ноте. Под лавкой живёт Хозяин — он хрустит солью, как морозом, и помнит все голоса, которые дом когда-либо слышал. В реке шестьдесят лет ждёт та, что утонула в купальскую ночь. А с севера, от красных ленточек на деревьях, подползает другая тишина — та, что глушит. У неё есть звук: как будто кто-то листает страницы, которых нет.

Чтобы мир не замолчал, Маше придётся разбудить колокол, молчавший семьдесят лет, найти в музейном подвале самую тихую вещь на свете, вывести на Купалу старика, который триста лет не мог умереть, — и заново научить слушать собственную мать.

Эта повесть о том, что мир стоит, пока его слушают. О хлебе-соли, о пороге слышимости и о звуке, который нельзя записать — можно только услышать.

Содержание

Содержание. 4
Пролог. Ухо дома. 5
Конец ознакомительного фрагмента. 10

Порог слышимости.

Содержание.

Пролог. Ухо дома.
Глава 1. Там, где кончается асфальт.
Глава 2. Хлеб-соль.
Глава 3. Экспонат без номера.
Глава 4. Метки.
Глава 5. Подслой.
Глава 6. Радио.
Глава 7. Самая тихая вещь на свете.
Глава 8. Купала.
Глава 9. Игла.
Эпилог. Живая тишина.

Пролог. Ухо дома.

У каждого дома есть ухо. У нового — маленькое, глуховатое: он ещё не умеет слушать, он ещё только говорит — скрипит свежей доской, оседает, трещит штукатуркой, как ребёнок, который болтает без умолку, потому что не знает, зачем рот. У старого дома ухо большое, как у зайца. Он слышит, как в подполе тлеет картошка — медленно, сладко, — как через три дома соседка ругается с телевизором, как за рекой, за четыре вёрсты, хлопает дверь автобуса. Он слышит даже то, чего нет: шаги тех, кто уехал; смех тех, кто умер; стук дождя, который пойдёт послезавтра.

Дом Орины Пахомовны Звонарёвой стоял последним в деревне Опушки, там, где кончался асфальт, и слух имел тонкий — от одиночества, что ли. Или оттого, что хозяйка слушала его в ответ. Дом, который слушают, слышит лучше других. Это знает всякий, кто жил в старом доме, и не знает никто, кто жил только в новом.

В октябре, в свой последний вечер, Орина затопила печь долго, со вкусом. Она всё делала в этот вечер чуть медленнее, чем всегда, — не потому что знала. Просто в теле стояла та особенная осенняя усталость, когда каждое дело хочется сделать как следует, как в последний раз. Берёзовые поленья легли крест-накрест — она поморщилась, развернула верхнее корой наружу: так огонь занимается веселее. Щепа

вспыхнула с мягким хлопком. Огонь пошёл по дереву с треском, похожим на смех, — сперва тонкий, девичий, потом ниже, грудной. Печь загудела, втянула воздух, и вся горница качнулась вместе с этим вдохом, как крышка на кастрюле.

Орина сидела на лавке и слушала печь. Семьдесят восемь лет она слушала эту печь, и печь знала её всю: девчонкой — с косой до пояса, невестой — с кольцом, которое Пахом при отливке бросил в медь, матерью, вдовой, старухой. Печь была единственная, кто помнил её голос целиком, во всех его возрастах.

Поужинала она просто: картошка из подпола, мелкая, но сладкая, молоко, хлеб. Отрезала ломоть, отломила от него краюшку и положила на блюдце — пёстрое, с облупленной каёмкой, ещё материнское. Блюдце поставила на край лавки.

— На, — сказала она в темноту под лавкой. — Свежий.

Из темноты донеслось шуршание, будто кто-то перебирал сухие листья. Потом — тихое довольное похрустывание. Потом Орина достала из буфета гранёный стакан, налила воды из ведра — вода была холодная, колодезная, с привкусом железа и пряностью тины — и поставила стакан на половицы посреди горницы. Села. Смотрела.

Вода в стакане шла мелкой рябью. Дом разговаривал. Орина читала эту рябь, как другие читают газету. Вот тонкая, частая дрожь — это мышь за стеной, та самая, третью неделю. Вот редкие, ленивые круги — это остывает печь, тяжело и по-стариковски. А вот — Орина прищурилась — вот эта

дрожь, на самом краю, едва живая… Так дрожит вода, когда кто-то идёт по дороге. Далеко ещё. Дней за десять пути.

— Слышу, — сказала Орина. — Слышу, старый.

Хозяин сидел под лавкой — клубок серой пыли размером с кота, если бы пыль умела горевать. Глаза — два уголька под пеплом. Он дожевал хлеб, вытер рот лапой и сказал голосом печной дверцы:

— Кто идёт-то?

— А ты не слышишь?

— Я дом слышу. Дорога — не моё.

— Едет кто-то, — сказала Орина. — С ушами.

Хозяин помолчал. Угольки глаз потемнели, разгорелись снова.

— С городскими ушами?

— С нашими. — Орина поднялась, и колени её хрустнули, как сучья в огне. — Приедет ещё одна. Ты её не пугай сразу. Дай ей хлеба, она хлеб любит.

— Все вы так говорите, — проворчал Хозяин. — А потом помрёте — и меня с молотка.

— Не будет тебя с молотка, — сказала Орина. Она прошла по горнице, трогая вещи — коромысло, прялку, фотографии на стене, — как трогают спящих детей: по голове, не прикасаясь. На фотографиях стояла вся её жизнь. Пахом у колокола — молодой, с чубом, смущённый фотоаппаратом. Настя с венком на голове, семнадцать лет навсегда. Дочь Леночка на фоне городского фонтана, вся отвёрнутая. Внучка

Машенька в наушниках — такая и прислала, сама себя снята, дура, зато уши видно хорошо: мочки оттопырены, как у всех Звонарёвых.

— Ты вот что, — сказала Орина, уже из спальни, уже ложась. — Она будет спрашивать про тишину. Она за тишиной едет, дуреха. Ты ей покажи, где она, тишина-то. Покажи, какая она бывает.

— А какая она бывает?

— Всякая, — сказала Орина. — Живая бывает. И ещё одна бывает. Ты знаешь.

Хозяин под лавкой не ответил. Потому что знал.

Она умерла до рассвета, тихо, между двумя вдохами, и дом понял это раньше петуха: стук в стене — маленький, верный, семьдесят восемь лет подряд, — оборвался на половине, как будто дом набрал воздуху и не выдохнул. Тепло из печи уходило всю ночь, и к утру горница стала холодной, а рябь в стакане — редкой, редкой, потом — никакой. Хозяин сидел у её остывших ног и трогал шерстяной носок одним пальцем. Вязаный. Она сама вязала, из собачьей шерсти, от радикулита. Палец Хозяина был серый и пыльный, и он боялся запачкать.

Приехали женщины. Приехал батюшка из Берестина, молодой, с бородкой, он служил быстро и всё оглядывался на печь, потому что печь вздыхала. Потом приехала дочь, Лена, в чёрном, красивая и чужая, и стояла посреди горницы, как человек в вокзальном зале, и говорила по телефону: «Да. Да.

Нет, я скоро. Тут… тут всё как было». И говорила неправду, потому что всё уже было не как было: дом стоял тихий и закрытый, как кулак. Потом все уехали.

Стакан так и остался стоять на половицах. Вода в нём дрогнула в последний раз — от захлопнувшейся двери — и замерла. Хозяин сидел под лавкой. Дом стоял над ним, огромный, полный голосов, которым некому было их сказать. За окном октябрь сбрасывал с берёз последнее, листья ложились на крышу с шорохом, похожим на шаг

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.